

АННА
АНАТОЛИЙ

МАЛЬШЕВА КОВАЛЕВ

Месть
нежнее любви,
любовь холоднее
смерти.



АВАНТЮРИСТКА
Обманувшая смерть

Авантюристка

Анатолий Ковалев

Обманувшая смерть

«АСТ»

2016

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Ковалев А.

Обманувшая смерть / А. Ковалев — «АСТ»,
2016 — (Авантюристка)

Действие пятой книги разворачивается в 1830 году в Москве, охваченной эпидемией холеры, окруженной карантинами. Виконтесса де Гранси, вернувшаяся на родину, чтобы отомстить ограбившему ее родственнику и отыскать свою дочь, сталкивается с новыми испытаниями, на которые так щедра ее судьба... «Обманувшая смерть» – пятая заключительная книга захватывающей историко-приключенческой саги «Авантюристка»

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Ковалев А., 2016
© АСТ, 2016

Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	26
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Анна Малышева, Анатолий Ковалев

Обманувшая смерть

*Посвящается памяти доктора Федора Петровича Гааза, и всех
московских докторов, боровшихся с эпидемией холеры в 1830 году*

Любое использование материалов данной книги, полностью или
частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Малышева А. В., Ковалев А. Е., 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Глава первая

Нежданный гость московского губернатора. Шут и царь. – Геракл исповедуется в своих подвигах. – Одна трогательная родственная встреча и дуэльный пистолет с золотой монограммой

Губернатор московский Дмитрий Владимирович Голицын привык обходиться без услуг цирюльника – то была его старая прихоть, с годами ставшая чем-то вроде безобидной мании. В наместническом доме на Тверской, из которого он не выезжал все последние дни, Дмитрий Владимирович брился обыкновенно по утрам перед большим зеркалом в приемной зале, напевая при этом что-нибудь фривольное по-французски, чаще всего из Беранже. В эти ранние часы его обычно никто не беспокоил, и даже слуга, приносивший нагретую в медном тазу воду, полотенце и все необходимые для бритья приборы, тотчас удалялся на цыпочках. «Большими талантами Господь меня не наделил, но уж для освежения собственной физиономии я не нуждаюсь в посредниках», – обычно говаривал он, чем вызывал удивление у многих светских господ, не умеющих шагу ступить без слуги и цирюльника, и даже прослыл последователем Руссо.

...Встав довольно поздно, в десятом часу утра, Дмитрий Владимирович накинул на плечи расшитый золотом халат и в полном одиночестве скоблил перед зеркалом щеку, с наслаждением бубня себе под нос незатейливый мотивчик о молодке Клодин, голышом купавшейся в речке. Но вдруг случилось нечто, заставившее его запнуться и проглотить изрядную долю вспененного мыла, покрывавшего его губы. В зеркале рядом с его отражением возникла фигура государя-императора. Высокий, статный, в военном мундире, с правильным бледным лицом античного героя, император смотрел пристально и загадочно. Губернатор от неожиданности уронил бритву в таз. Будучи человеком очень близоруким, он начал поспешно искать в карманах халата складной лорнет, но тут отражение, которое он принял за оптический обман, заговорило.

– Что, Митя, не ждал меня в гости?

Сомнений не осталось – этот голос невозможно было забыть! Голицын обернулся и забормотал по-французски:

– Ваше Величество... Извините, что я по сю пору не одет... В городе холера, а я вот заспался до десяти... Комитет вчера допоздна засиделся...

Всем было известно, что сам император встает чуть свет и терпеть не может лежебок. Леньость Николай приравнивал к разврату.

– Нет нужды оправдываться! – воскликнул также по-французски Николай, окончательно обретя в глазах губернатора телесную оболочку. Приблизившись и заключив старого приятеля в объятия, он проникновенно произнес: – Я извещен о том, мой друг, что вся Москва благословляет вас!

Москва, и в самом деле, была признательна своему градоначальнику за меры, которые он принял еще до начала эпидемии. Голицын относился к той породе людей, которые кажутся слабыми и безвольными в обычной обстановке, но перед лицом опасности вдруг становятся мужественными и решительными. В созданный им Комитет по холере входил весь цвет московского купечества. За каждым купцом губернатор закрепил определенный район города. На пожертвования открылось более двадцати новых лечебниц. Купцы на собственные средства приобретали для них кровати, ванны и прочее оборудование. Простые горожане бесплатно нанимались в смотрители больниц и следили за тем, чтобы жертвования не стали добычей чиновников и служащих, а употреблялись по назначению. Из государственной казны не было взято ни копейки. Студентов Московского университета губернатор призвал в сиделки и ординаторы, в фельдшера и письмоводители. Никто не отказывался от добровольной мобилизации, студенты без страха перед болезнью устраивались волонтерами в больницы города. Полиция строго сле-

дила за скоплением народа на улицах и за тем, чтобы специальные фуры с лошадьми оперативно убирали с тротуаров трупы. В огромном городе, зараженном страшной болезнью, не наблюдалось паники, все было подчинено порядку и дисциплине. Губернатор часто проезжал по городу в открытой коляске, посещал больных в палатах лечебниц, всем своим видом показывая, что надо сохранять спокойствие. Москвичи еще со времени последней чумы верили, что перед мужеством отступает любая зараза и что, напротив, страх способствует ее распространению. Старожилы вспоминали в эти дни наместника Екатерины Великой, графа Петра Семеновича Салтыкова, который бежал из зачумленной Москвы в подмосковное имение, прихватив с собой войско и даже пушки. Герой сей защищал себя пушками от чумы.

– Я вообще-то ждал со дня на день Бенкендорфа, – все еще ошеломленный появлением императора, признался Голицын. Он хотел было стереть полотенцем мыльную пену с щек, но Николай остановил его:

– Продолжай заниматься туалетом, не обращай на меня внимания. – Он одновременно перешел на русский и на «ты». – Алекса задержали в Петербурге неотложные дела. Обещал прибыть завтра утром.

– До сих пор не могу поверить, что это не сон, – покачал головой Дмитрий Владимирович, – и что ты решился приехать в холерную Москву. Еще вчера я получил от тебя срочную депешу с указаниями и думал, что ты далеко и в безопасности... Зачем же было так рисковать собой, дорогой Никс?

– Об этом после потолкуем, – ушел от ответа Николай Павлович, – ты мне расскажи лучше, что в городе происходит?

Император ходил по гостинной, сложа руки за спину, и с интересом рассматривал портреты московских губернаторов, будто видел их впервые. Он внимательно вслушивался в каждое слово, произносимое Голицыным.

За последние два дня обстановка ухудшилась, счет умерших от холеры уже пошел на сотни. Однако некоторые доктора до сих пор использовали напрасные кровопускания, преспокойно отправляя на тот свет своих пациентов. Улицы и дома посыпались хлорной известью. Горожане предпочитали окуривать комнаты можжевельником, наполнять сосуды дегтем и расставлять их во всех помещениях. Сделались популярными «уксус четырех разбойников» и диета без овощей и фруктов.

– Гааз и Маркус в один голос уверяют меня, что много заразы идет от арбузов, привезенных из Астрахани, а также наших московских яблок, – признался Дмитрий Владимирович, – но запретить купцам торговать овощами и фруктами я не могу. Это вызовет бунт!

– Надо запретить, Митя, – строго произнес император, – я лично буду говорить об этом с купцами. – И, оторвавшись, наконец, от созерцания очередного портрета, взглянул на старого приятеля прямо: – Ну а что в больницах происходит? Кого-нибудь удастся излечить от заразы?

– Слава богу, пошло дело! – радостно сообщил губернатор. – Первым был спасенный мальчишка в Старо-Екатерининской, у Гааза. За последние дни у него же еще трое встали на ноги. У Гильдебрандта-младшего в Университетской лечебнице большие успехи, сразу восемь человек пошли на поправку. Ну а в Мещанской больнице смоленский доктор Хлебников за двое суток девятих поднял!

– Молодцы! – от души похвалил Николай Павлович. – Ты мне вот что, докторов сегодня, ближе к вечеру, собери! Поговорим о кровопусканиях...

Слух о прибытии императора в Первопрестольную быстро разнесся по городу, и, когда государь выходил из губернаторского дома, Тверская уже была заполнена людьми. Жандармы напрасно просили горожан разойтись, упирая на то, что скопление народа способствует распространению болезни.

«Никого не разгонять!» – приказал император и велел вести его в часовню Иверской Божьей Матери. Там, встав на колени, долго молился. Вокруг часовни собралась плотная мно-

готысячная толпа. Узнав, что государь молится, люди тоже вставали на колени и молились. В конце Его Величество приложился к образу, и его примеру последовали сопровождавшие его генерал-адъютанты Адлерберг и Храповицкий, флигель-адъютанты Кокошкин и Апраксин и граф Толстой. Доктора Арендт и Ерохин с ужасом взирали из окна кареты на огромное скопление людей.

Народ встретил вышедшего из часовни государя возгласами:

– Мы знали, что ты будешь!

– Где беда – там и ты!

– С тобой нам сам черт не страшен!

Николай Павлович поднял руку в белой перчатке, отчего сразу установилась тишина, и сказал короткую речь.

– В прежние времена говорили: «Близ царя – близ смерти!» и шли за своего царя на смерть. А сегодня я говорю: «Близ народа – близ смерти!», и нисколько не страшусь этих слов, и готов умереть за свой народ. Держитесь, братцы!

У многих на глазах выступили слезы. Кто-то закричал:

– Ура! Теперь не пропадем!

Толпа дружно подхватила: «Ура-а!» Потом провожали всем миром карету императора до самого Архиерейского дома, где «Его Императорское Величество изволил иметь жительство».

В первые минуты своего пребывания в Архиерейском доме он распорядился подать ему перо и бумагу, намереваясь написать письмо императрице, а также предписание тверскому губернатору. В обоих случаях был весьма краток, потратив на послания не более получаса. Отдал их фельдъегерям, после чего велел поменять карету на открытую коляску и поехал в Успенский собор Кремля, вновь сопровождаемый толпами народа.

Митрополит Филарет встретил государя на ступенях храма со слезами на глазах. Благословив его крестом, владыка воскликнул в наступившей тишине: «Благословен грядый на спасение града сего!.. Такое царское дело выше славы человеческой, поелику основано на добродетели христианской...»

Отстояв молебен, Николай Павлович проехал по главным улицам города. Стоя в коляске, он приветствовал москвичей. Кажется, вся Москва в эти часы высыпала на улицы, несмотря на то, что эпидемия заставляла горожан прятаться по углам и лишний раз не высовывать носа. Желание видеть государя преодолело страх. Люди крестились, целыми группами вставали на колени. «Ах! Ты отец наш!» – слышалось отовсюду. «И мор-то тебя не устрашает!» – кричали радостно. «Буди с тобой благодать Господня!» – шептали в слезах.

Император не поленился свернуть в яблочные ряды и обратился к купцам с просьбой приостановить торговлю, потому что «фрукты и овощи вредны при теперешнем поветрии, а потому нужно прекратить продажу особенно яблок и арбузов!» Один из купцов поклонился государю в пояс и сказал: «Извольте, батюшка, Ваше Величество, приказать, что для православных полезно, и мы исполним вашу волю!» Однако другие торговцы зароптали. Если они не будут продавать фрукты и овощи, то разорятся, и их семьи пойдут по миру. «Не дадим вам разориться, братцы!» – пообещал государь и поехал обедать к губернатору.

Князь Дмитрий Владимирович быстро нашел выход. Купцы собрали так много пожертвований на холеру, что из этих денег можно взять часть на вознаграждение торговцев, которые временно прекратят продажу фруктов и овощей. Подумав немного, Николай Павлович сказал: «Нехорошо брать из пожертвований. Сие народ наш может растолковать неверно. К тому же мы не знаем, сколько еще продлится поветрие. Арендт говорит, что до холодов, а это значит, целый месяц ждать! – Он сделал паузу, а потом твердо заключил: – Заплати торговцам из казны, Митя!»

Вечером у Архиерейского дома собралось все московское купечество. Городской глава держал в руках поднос с большим караваем и солью. Однако государь, выйдя на крыльцо, прежде всего обратился к собравшимся с речью:

– Узнав о бедствиях Москвы, я сам сюда приехал разделить с вами опасности. По донесениям, кои я имею, Россия лишилась по сие время более двадцати тысяч человек от холеры. Я желаю, чтобы взяты были строгие меры против сего зла, и чтобы вы содействовали всеми силами правительству. Много вреда причиняют овощи и плоды. Я сам был сегодня в яблочном ряду, говорил с торговцами; один из них был столь благоразумен, что тотчас согласился на прекращение торгового своего, а прочие представляли о разорении, которое потерпят. Согласен, нельзя, чтобы в теперешнее время все мы имели недостатки и убытки, поэтому я приказал губернатору Голицыну, чтобы всех их вознаградили из казны, но продажа должна прекратиться немедленно!

Купцы угрюмо молчали, и только городской глава подал голос, ответив за всех:

– Исполним все, что прикажете, Ваше Величество...

– Закроем торговлю фруктами, так и быть, – поддержал еще кто-то. Остальные продолжали хранить безмолвие.

Чтобы разрядить обстановку, император спросил у городского главы:

– Много больных в вашем сословии?

– Самая малость, Ваше Величество, – ответил тот, – зараза эта более заключается в простом народе.

– Я хотел приехать сюда с императрицею на выставку русских изделий и погостить у вас, в Москве, – признался государь, – но смутные сии обстоятельства помешали нам исполнить желание наше.

Стоявший рядом с городским главой советник коммерции Титов, организатор выставки, тотчас вступил в разговор:

– Ваше Величество, выставка будет отсрочена по причине нынешних обстоятельств, – и с лстивой улыбкой на лице добавил: – Москва надеется не лишиться счастья иметь в стенах своих царскую фамилию.

– Увидим! – вдруг резко произнес император. – Может, Бог это и устроит!

После этих слов он взял из рук городского главы поднос с хлебом и солью и быстрым, военным шагом удалился в свои покои.

Много было желающих из дворянского сословия засвидетельствовать свое почтение государю-императору, но Николай приказал никого к нему не допускать, кроме князя Голицына.

Уже поздно вечером, почти ночью, в наместническом доме собрали начальников специально созданных временных больниц и отделений для холерных больных. По просьбе Арендта император держался от них на некотором расстоянии. Похвалив докторов за труды и усердие, Николай строго-настрого приказал им прекратить кровопускания у холерных, ведущие к гибели людей. А также просил не делать сословного различия между больными, и относиться к самым беднейшим жителям Москвы с уважением, и окружать их такими же заботами, как и остальных. В конце добавил, что в ближайшие дни сам намерен посетить несколько больниц.

Несмотря на то что император отошел ко сну непривычно поздно и день выдался невероятно насыщенным, встал он, по обыкновению, в шесть утра. Спал на своей раскладной походной кровати, которая в Зимнем дворце стояла у него прямо в кабинете. Сделав зарядку с карабином, который везде с ним путешествовал, император приказал подать чай и принялся писать письма. Лакей доложил, что ночью прибыл Бенкендорф и что Александр Христофорович уже изволили проснуться и просят его принять. По утрам друзья часто чаевничали вместе, обсуждая насущные политические вопросы. Это стало уже почти привычкой. Николай Павлович не преминул воспользоваться появлением старого приятеля.

Черные круги под глазами шефа жандармов свидетельствовали о том, что он не ложился спать этой ночью.

– Когда прибыл? – поинтересовался император.

– Два часа назад, Никс, – признался Бенкендорф, – торопился изо всех сил.

– И снова, конечно же, ехал верхом, – с упреком констатировал Николай, – хотя в карете мог бы поспать.

По старой юношеской привычке, когда Александр Христофорович еще служил курьером у императора Павла, он всему предпочитал верховую езду с заменой коней на каждой станции. Бенкендорф считал этот способ передвижения самым быстрым и надежным.

– И возраст, и солидное положение твое предполагают... – начал было читать ему нотацию император, но вдруг остановился и, пристально посмотрев на старого друга, у которого большая часть головы уже давно была лишена волос, а в рыжеватых бакенбардах все явственнее выступала седина, махнул рукой: – Впрочем, тебя уже поздно переделывать, Алекс. Тевтонский дух в тебе неистребим!

– Для остзейского немца, родившегося в России, весьма лестно, что его попрекают тевтонским духом, – усмехнулся Бенкендорф.

Потом заговорили о делах. Николай живо описал весь вчерашний день, особо заострив внимание начальника Третьего отделения на встрече с московским купечеством.

– Не могу сказать, что сие собрание пришло в восторг от моей просьбы прекратить торговлю овощами и фруктами. За всех отвечал городской глава, остальные угрюмо молчали.

– Купцы теряют большую прибыль, – заметил Александр Христофорович, – любое вознаграждение только отчасти компенсирует им убытки. Думаю, на окраинах города, среди бедноты, они все-таки продолжают торговать.

– Мы не должны этого допустить! – твердо заявил император. – Возьмешь торговлю фруктами под свою ответственность!

Затем говорили об оцеплении города, о создании карантинных на Петербургской дороге, об обязательной дезинфекции, то бишь окуривании всех выезжающих из города, и о многом другом, связанном с теперешней ситуацией.

Неожиданно среди утренней тишины за дверью раздался глухой удар, будто на пол уронили огромный куль с мукой. Бенкендорф вскочил и бросился к двери. Он хотел было ее резко открыть, но что-то помешало ему это сделать. Приоткрыв ее все же на несколько дюймов, Бенкендорф разглядел лежащего ничком человека.

– Упал лакей, который только что подавал нам чай, – сообщил он императору. – По всей видимости, лишился чувств. Поэтому дверь не поддается.

– Давай вместе попробуем! – предложил Николай.

Они вдвоем налегли на массивную дубовую дверь и сумели расширить щель настолько, чтобы можно было через нее протиснуться. Оказавшись в тесной лакейской, они бросились было поднимать беднягу, но Бенкендорф, опомнившись и отстранив императора, благоразумно сказал:

– Не будем делать глупости, Никс! Отойди в сторону!

Начальник Третьего отделения перевернул слугу на спину. Тот тяжело дышал, лицо было бледно, на лбу выступила испарина.

– Я позову Арендта! – вспомнил о своем личном докторе император.

Тот в сопровождении слуг, сообщивших ему о случившемся, уже спешил по анфиладе комнат в государевы покои.

– Не подходите к больному, Ваше Величество! – крикнул он еще издали. – Это может быть заразно!

Лакея перенесли в другую комнату, вызвали Маркуса, Гааза и Гильдебрандта-старшего, но еще до их приезда, не приходя в сознание, несчастный скончался. Прибывшие доктора, осмотрев покойника, пришли к выводу, что у того случилась быстротечная холера морбус.

Личный врач императора Арендт тотчас распорядился: перед тем как войти в государевы покои, всякий, невзирая на звание и чин, обязан умыть водой с хлором руки и лицо и оным же раствором полоскать рот.

Узнав о случившемся, в Архиерейский дом прибыл губернатор Голицын и настоятельно просил государя покинуть Москву. Николай Павлович был непреклонен и даже выказал желание проехаться сегодня верхом, а также посетить больных в лечебницах. При этом он настоятельно просил губернатора и членов свиты, в особенности докторов, не сообщать о предпринятых им действиях государыне-императрице, помня о ее деликатном положении.

Странное шествие двигалось в этот день по улицам Москвы. Шеф жандармов Бенкендорф шел впереди процессии, держа за уздцы коня, на котором восседал император. Граф Толстой и генерал-адъютант Храповицкий расположились по обе стороны, у ног его величества. Флигель-адъютанты Кокошкин и Апраксин шагали сзади. Замыкал свиту генерал-адъютант Адлерберг. Он вел запасного коня. Толпа неотступно следовала за государем, заполняя собой все пространство улицы. Встречного движения практически не наблюдалось. Люди при виде императора вставали на колени, крестились и вливались в общий поток. Так в городах Европы во время чумы носили статуи особо почитаемых святых, которые должны были уберечь людей от ужасной смерти. Николай Павлович, ровно и неподвижно державшийся в седле, с лицом, чьи четкие черты были словно отлиты из серебра, действительно, походил в этот миг на статую, и люд московский верил, что, подобно святому чудотворцу, царь избавит город от страшной болезни.

* * *

Иеффай Цейц привык к тому, что его напарник целыми днями молчал. Три месяца назад на Нижегородской ярмарке, где он впервые встретил Геракла, знакомые циркачи предупредили его, что атлет немой, но не глухой. «А что с ним такое?» – удивился тогда Иеффай. «Язык себе откусил, да и проглотил с голодухи, когда брюхо подвело!» – ответили ему с обычным в цирковой среде юмором, в страшном ищущем смешное.

Иеффай очень скоро убедился, что язык у напарника, открывавшего рот лишь во время еды, цел и невредим. «Наверное, Геракл совершил какой-нибудь проступок и дал обет молчания, – строил догадки карлик, – монахи ведь так поступают! А он похож на беглого монаха!» Иеффай подметил, что Геракл носит на груди крест и иконку и каждый вечер перед сном безмолвно шевелит губами, молится.

Вчера, после того как напарник неожиданно сбежал от Иеффая, оставив его одного мокнуть под дождем со скрипкой в руках, Цейц не знал что и думать об этом человеке. За три прожитых вместе месяца он так и не понял, что представляет собой Геракл. Неизвестно было даже его настоящее имя. Очень трудно, почти невозможно составить представление о человеке, когда тот постоянно молчит.

Ящик с гирями, который ему было не под силу перенести в чердачную каморку, Иеффай оставил на хранение в одной из лавок Хитрова рынка, у знакомого еврея. Тот оказался настолько любезен, что не взял с него ни копейки. Правда, поставил условие: если напарник через три дня не объявится, гири он заберет себе. «Разбогатеть решил на наших гирях! – ворчал про себя Цейц. – Продаст их за рубль какому-нибудь сумасшедшему и будет считать это выгодной сделкой. Дуралей!» Ему казалось парадоксом, что за груды металла можно получить всего лишь железный рубль, тем более что гири в руках силача приносили маленькой труппе намного больше денег. Однако даже если бы Геракл никуда не исчез, их представления на Хит-

ровом рынке рано или поздно оказались бы под запретом, потому что полиция не разрешала во время эпидемии скапливаться толпе.

Иеффай изрядно заработал игрой на скрипке в тот непогожий день, но настроение у него было прескверное. Он не знал, что ему делать дальше в этом зараженном холерой городе. «Надо сматывать удочки, – говорил он себе, – пока еще можно выбраться отсюда. Бежать на Запад: в Польшу, в Германию!» На душе становилось тяжело от подобных мыслей. Не любил он эти страны! Во-первых, большая конкуренция, а во-вторых, поляки и немцы не так щедры, как русские. Но холера пугала. Ходили зловещие слухи, что Москву со дня на день закроют, поэтому промедление могло стоить жизни. И все-таки Иеффай решил подождать Геракла. Поиск нового напарника мог затянуться, да и где искать этого напарника?

Всю ночь мрачные мысли не давали ему покоя. Он вспоминал чумную Одессу в тринадцатом году, где цирковая труппа его дядюшки Якова застряла надолго. Многие тогда умерли, бродячий цирк лилипутов сократился почти на две трети. Это была настоящая катастрофа, после которой они так и не смогли оправиться. Иеффай молился весь вечер за тех, кто умер в Одессе, и за дядюшку Якова, который тогда чудом выжил, но недолго прожил. Он молился искренне, проливая слезы по старым цирковым друзьям. Так в слезах и уснул.

Утром его разбудили крики мальчишек: «Царь на лошади едет!», «Айда царя смотреть!» Иеффаю вдруг тоже захотелось взглянуть на того, кого евреи уже успели прозвать «русским Асмодеем». Всего лишь за три с половиной года правления Николая Павловича было издано несколько законов, ущемляющих права представителей иудейского вероисповедания. И, конечно, самый ужасный, обернувшийся многими трагедиями, указ о натуральной воинской повинности для евреев от двадцать шестого августа тысяча восемьсот двадцать седьмого года. Казалось бы, что здесь плохого? У императора были благие намерения обучить еврейский народ военной науке, воспитать из древнего племени настоящих воинов-богатырей. На самом деле под благими намерениями вырисовывалась совсем другая, более приземленная цель – ассимиляция евреев. Квота призыва для иудеев составляла десять человек с одной тысячи ежегодно. Для христиан – семь человек с тысячи через год. Кроме того, еврейские общины обязаны были расплачиваться «штрафным» количеством рекрутов за податные недоимки, за членовредительство или за побег призывника (два рекрута за одного). Причем разрешено было пополнять требуемое количество призывников детьми от двенадцати лет, которых определяли в школы кантонистов. Кагалам проще всего было расплачиваться именно детьми, прежде всего сиротами, отобранными у вдов. Зачастую отдавались в кантонисты мальчики семи – девяти лет, ложно признанные свидетелями двенадцатилетними. Власти на это закрывали глаза. Годы учебы не засчитывались в срок воинской службы, она начиналась с восемнадцати лет и продолжалась четверть века. В школах для кантонистов еврейских мальчиков прежде всего обращали в православную веру и давали им русские имена. Непокорных детей морили голодом, подвергали пыткам.

Такая участь постигла младшего брата Иеффая – Гедалью, который рос обычным мальчуганом, не карликом. Его отобрали у матери-вдовы в возрасте девяти лет. Двенадцать свидетелей из общины, несмотря на причитания матери и сестер, подтвердили, что Гедалье уже исполнилось двенадцать. Брата отправили в Николаев, но вскоре пришло известие, что он повесился после того, как его насильно крестили. «На горе ты нас перевез из Бессарабии в Одессу!» – упрекала Иеффая в письме мать. (Дело в том, что указ царя не распространялся на Бессарабскую область.) «И община здесь – хуже некуда! Звери, а не люди. У некоторых вдов отбирают единственных кормильцев, несмотря на то, что закон запрещает это делать, и отдают в кантонисты!»

Гедалью не разрешили хоронить на еврейском кладбище, потому что он был крещеным, а русский поп не стал бы даже слушать о самоубийце-выкресте. Пришлось хоронить Гедалью за кладбищенской оградой, рядом с безбожниками.

Иеффай вдруг вспомнил, как в тринадцатом году, после того как чума в Одессе унесла жизни многих цирковых артистов, сократив их труппу на две трети, он впал в глубокое уныние. Не мог ни есть, ни спать, а уж о цирковых выступлениях и речи быть не могло. Он целыми днями только и делал, что молча раскачивался из стороны в сторону, уставившись в одну точку. Циркачи решили, что Цейц так может сойти с ума, и всячески пытались его отвлечь от горестных мыслей, но у них ничего не получалось. Тогда кто-то посоветовал отвезти Иеффая в Люблин, к знаменитому цадику Якову Ицхаку, прозванному в народе Ясновидцем. К тому же цадик этот еще был известен и тем, что сам часто подвергался приступам меланхолии. Уж он точно найдет выход!

Так и сделали. Погрузили Цейца в цирковую кибитку и повезли в Люблин. Они тогда как раз гастролировали в Польше, и дорога заняла немного времени. Однако попасть к Ясновидцу оказалось непросто. Хасиды со всей Польши и Украины стекались в Люблин не только за мудрыми советами и предсказаниями. О Якове Ицхаке говорили: «Когда к нему приходит хасид в первый раз, он вынимает из него душу, очищает ее от всякой ржавчины и всякого налета и возвращает обратно такой, какой она была в час рождения!» Трое суток простояли циркачи в очереди и уже совсем отчаялись, потому что не было конца людскому потоку, да и цадик принимал далеко не всех. Время от времени во двор выходил его слуга, молодой красивый парень, больше похожий на приказчика в торговой лавке, чем на правоверного хасида. Он всякий раз указывал пальцем на того, кого примет Ясновидец. Некоторые пытались подкупить слугу, но тот не брал ни копейки, повторяя одну и ту же заученную фразу: «Рабби ненавидит деньги и просит их ему не предлагать!» Каким образом выбирались люди из очереди, для всех оставалось загадкой.

Наконец на четвертый день, на рассвете, когда циркачи еще спали в кибитке, а Цейц, не знавший сна уже много ночей, раскачивался из стороны в сторону, кто-то резко откинул полог, так что Иеффай даже вздрогнул и замер, а все остальные разом проснулись. Они увидели слугу Ясновидца. Он указал на Иеффая и произнес, четко выделяя каждое слово: «Рабби ждет тебя прямо сейчас!»

Комната, в которой принимал хасидов Ясновидец, была маленькой, скромно убранной, с низкими потолками. Ее обитатель сидел в кресле, но не лицом к входящему, а в профиль, так что все видели только одну сторону его лица. Говорили, что правый глаз цадика больше левого, имеет круглую форму и излучает доброту, а левый, напротив – миндалевидный, прищуренный, глядит с хитрецей. Лицо рабби было обращено к Иеффаю правой стороной. Якову Ицхаку уже перевалило за шестьдесят, но его рыжеватую бороду почти не тронула седина, тогда как волосы и брови были совершенно белыми.

Первая же фраза, которую произнес Ясновидец, вызвала у Цейца недоумение и одновременно вывела его из меланхолического состояния. «Ты не должен впасть в уныние, – сказал рабби, – даже когда погибнет твой брат!» – «Но у меня нет брата, – пожал плечами циркач, – только сестры...» Гедаля появился на свет только через семь лет после описанных событий. Яков Ицхак, не обратив внимания на замечание Цейца, продолжал: «Больше всего остерегайся уныния, ибо оно хуже и опаснее греха. Когда Злое Начало пробуждает в человеке страсти, оно делает это не затем, чтобы ввести его в грех, а затем, чтобы он впал в уныние... Те, о ком ты сейчас печалишься, пребывают в Царствии Небесном, и ты должен радоваться за них, а не горевать. Сказано в Мишне: "Человек должен благодарить Бога за зло и восхвалять Его за это!" Гемара добавляет: "...должен принять с радостью и со спокойным сердцем". Понял?» – «Как можно радоваться злу?! – в негодовании воскликнул Иеффай. – Принимать его со спокойным сердцем?» – «Надо учиться смирению, – спокойно продолжал рабби, – а иначе Злое Начало овладеет твоими мыслями, захватит твое сердце, и ты сам, не распознав в себе зло, начнешь причинять боль другому, ввергать его в уныние...»

Цейц ушел тогда от Ясновидца с противоречивым чувством, но главное было достигнуто – он больше не впадал в меланхолию, а, напротив, ощущал невероятный прилив сил, словно переродившись. «Странно! – часто восклицал люблинский святой. – Приходят ко мне люди унылые, а уходят – просветленные, хотя сам я мрачен и не даю света». Два года спустя Яков Ицхак погиб, выпав из окна второго этажа на мостовую. Люди, близко знавшие Ясновидца, не сомневались, что это самоубийство, потому что попыток свести счеты с жизнью у него и раньше было много. Весь хасидский мир был повергнут в смятение таким поступком и пребывал в горе от столь великой утраты.

Удивительное дело – человеческая память! В ней два дна, словно в шляпе фокусника... О предсказании Ясновидца насчет брата Иеффай вспомнил только сейчас, собираясь выйти, чтобы увидеться с русским царем.

«Хотел бы я посмотреть в глаза этому... злодею!» – Цейц не нашел другого подходящего слова для самодержца, который стал новым тираном для еврейского народа.

Он решил надеть костюм Арлекина.

– Не в лапсердаке же идти к нему! – с презрением бросил циркач. – Костюм шута – вот самый подходящий наряд, чтобы предстать перед Его Величеством!

Иеффай быстро оделся и загримировал лицо.

– Шут скажет много неприятных слов царю, – сообщил он на прощание своему изображению в оловянном чайнике, служившем ему одновременно зеркалом. – И пусть меня потом хватают, секут и сажают в карцер!

От мальчишек, бежавших смотреть на императора, он узнал, что шествие сейчас проходит по Лубянской площади. Иеффай хорошо ориентировался в этой части города, и, миновав несколько переулков, вскоре оказался на Мясницкой. Он выбежал на мостовую и увидел, как на него движется огромная толпа людей, во главе которой едет на вороном коне император. На нем был черный мундир с красными эполетами, без аксельбантов и орденов и черная треуголка. Лицо государя показалось Иеффаю неестественно бледным и безжизненным. Толпа, шедшая за ним, не производила обычного гула, свойственного большому скоплению людей. Все шло молча, только изредка сквозь топот и шарканье тысяч ног слышались одинокие выкрики, здравницы царю. Эта молчаливая, полная предгрозового напряжения толпа оставляла жуткое впечатление. «Так же молча они растопчут меня, не оставив и следа... – промелькнуло в голове у Иеффая. – Растопчут кого угодно!» Все-таки он нашел в себе силы сделать несколько шагов навстречу «тирану», «кровавому Асмодею», столь безжалостному к еврейским детям.

Когда маленький Арлекин с размалеванным лицом, вынырнувший неизвестно откуда, встал на пути императорского кортежа, шествие остановилось.

– Кто это такое? – воскликнул граф Толстой.

– Ребенок? – удивленно поднял брови Николай.

– Нет, по всей видимости, карлик, – возразил ему Бенкендорф.

– И явно из жидов, Ваше Величество, – тотчас с авторитетным видом определил генерал Храповицкий, – я их по глазам узнаю.

– За кого-то хочет просить, очевидно, – заключил шеф жандармов. – Чего тебе? – обратился он к Арлекину.

Иеффай все время, пока его обсуждали, стоял как вкопанный и не мог произнести ни слова. Он смотрел, не моргая, в глаза императору. Говорили, будто в гневе у Николая в левом глазу загорается «раскаленный гвоздь», и от этого зрелища можно сойти с ума. Сейчас ничего подобного не наблюдалось. Император не гневался на шута, а, напротив, смотрел на него с жалостью и даже, как показалось Иеффаю, с сочувствием.

– Шуты обыкновенно остры на язык, – с ухмылкой заметил граф Толстой, – но этот оказался немым.

Тем временем Цейца уже обступили с двух сторон жандармы. Однако император сделал знак, чтобы они удалились, и сам обратился к карлику, желая его подбодрить:

– Говори же, не бойся! Шут не должен бояться царя.

От этих слов, произнесенных спокойно, участливо, у Иеффая подкосились ноги. Он упал на колени и зарыдал от бессилия. Слова упрека, которые карлик готовил, чтобы бросить их императору, высыпались у него из памяти, словно мелкие монеты из дырявого кармана. Язык одеревенел так, что стал совсем неподвижен. Сквозь застилавший глаза кровавый туман Иеффай успел еще увидеть, как ладонь Николая потянулась к треуголке. Император отдал ему честь! В тот же миг чьи-то сильные руки подхватили Иеффая под мышки и, словно тряпичную куклу, понесли куда-то в сторону от мостовой.

Шествие, всего спустя миг, продолжилось.

В подворотне, темной и сырой, карлика опустили наземь. Цейц даже не взглянул на своего спасителя или похитителя – он никак не мог успокоиться. Его душили истеричные рыдания, слезы лились ручьем. Размазывая их по густо положенному гриму, он превращал лицо в смешную и страшную маску.

– Ну, будет тебе! – раздался над ним хриплый незнакомый голос. – Чего тебя понесло-то к царю? Будто не знаешь, как он вас, жидков, «любит».

Иеффай часто заморгал, поднял голову – и онемел. Над ним склонялся Геракл.

– Ну, что молчишь? Язык откусил? А раньше трещал будь здоров! Не остановишь... – усмехнулся напарник.

– Я откусил, а ты, видно, подобрал, да и пришил его себе! – волшебным образом обрел дар речи Цейц. – Какого лешего ты столько времени молчал?! Поговорить было бы с кем!

– Молчал я ровно три года, – вздохнул Геракл, – такова была епитимья, наложенная на меня священником... – Он сделал паузу, а потом, махнув рукой, произнес: – Впрочем, тебе этого не понять, ты еврей.

– Что ты заладил – то «жидок», то «еврей»! Забыл, как меня зовут? – возмутился Иеффай.

– Все едино, – хрипло пробасил верзила, – Иеффай, Мордехай или Шмулька какой... Ваше племя распяло Христа и должно вечно страдать за это! Думаешь, я не понимаю, почему ты полез к государю-императору? Ведь ты рассказывал мне о своем младшем брате, который повесился, не пережив крещения. Хотел царю бросить в лицо свою обиду? Д-дурак! Терпи, коль веруешь! Уповай на Бога! У меня, может быть, не меньше твоего накопилось в душе... Однако же я терплю...

– Ей-богу, лучше бы ты продолжал молчать! – воскликнул в сердцах Иеффай. Он был нешуточным образом оскорблен словами напарника.

Цейц решил закончить всякое общение с Гераклом, который, обретя дар речи, одновременно утратил всякую приятность общения. Карлик понятия не имел, как справиться в одиночку и прокормит ли его скрипка без дополнительного номера, но собирался скорее вернуться домой. Там, в тишине и покое, он помолится и, Бог даст, что-то сообразит... Сделав несколько шагов и обернувшись, он увидел, что верзила следует за ним.

«Как собака, – подумал Иеффай, – большая, глупая собака... Куда же ему еще идти, как не за мной следом?»

Нахмурившись, Иеффай отвернулся и зашагал дальше. Он совсем не был расположен прощать преобразившегося Геракла. Силач был совсем не похож на того человека, с которым он несколько месяцев кряду делил комнатку на чердаке, на безмолвного, со всем согласного верзилу. У этого нового Геракла был довольно злой язык, да еще хорошо подвешенный, каким достоинством обычно не блещут цирковые силачи.

Мясницкая обезлюдела. Кажется, весь город устремился в одну сторону – вслед за императорским шествием. Даже самые бойко торговавшие магазины и лавки оказались закрыты.

– Да погоди, не семени, не убежишь все равно! – услышал Иеффай у себя за спиной спокойный голос Геракла. – Ты, я смотрю, обиделся, а я-то вовсе не собирался тебя обижать. Отвык говорить, ну и ляпнул! Ты меня прости, коль задел за живое. Ну?

Напарник поравнялся с ним, сделав один широкий шаг, и, протянув руку, вопросительно произнес:

– Мир?

Подумав немного, Цейц все-таки вложил свою крохотную лапку в огромную ладонь верзилы. Он не умел долго на кого-то злиться и таить обиду.

– Ну, если объявился, то ступай-ка скорее, заberi свои гири у Самуила, – снова, как прежде, начал командовать он. – А если этот кровопивец Шмулька, распявший твоего Христа, заикнется о деньгах, покажи ему кулак... И напомни, что три дня еще не прошло! А то он тебя околпачит...

– Да ты не бойся! – радостно откликнулся прощенный Геракл. – У меня не вывернется!

Он прибавил шаг, сворачивая в сторону Хитрова рынка. А Цейц, глядя ему вслед, вдруг осознал, что до сих пор не знает настоящего имени Геракла.

– Погоди! – окликнул он верзилу. – Как мне теперь тебя звать-то? По-старому, по-цирковогому, или ты мне имя скажешь по такому радостному случаю, что ты больше не немой.

– Велика радость, – усмехнулся Геракл, – тоже мне, праздник какой! Если хочешь, кличь и дальше Гераклом, я привык. Ну, а не желаешь – так Афанасием зови!

Махнув на прощание, он исчез в кривом узком переулке, направившись в недра Хитровки разыскивать «кровопивца Шмульку», мечтавшего присвоить кормившие циркачей гири.

* * *

Наш старый знакомый, спаситель и благодетель Елены, Афанасий Огарков провел на каторге в общей сложности пятнадцать лет. В юности его осудили за раскольниковство, и он отбыл свой первый срок в горных заводах Пермского края. Каторга, являвшая собой ад на земле и особенно под землей, не сломила его, но озлобила, сделала замкнутым и недоверчивым. По освобождении он связался с лесными братьями-разбойниками, но вскоре был пойман в Москве, заключен в кандалы и ждал нового этапа. Однако случилось невероятное. К городу подошла французская армия, и московский генерал-губернатор граф Ростопчин распорядился выпустить из тюрем всех заключенных с условием, что они подожгут город. Для этих целей еще за несколько недель до сдачи Москвы в поместье князя Репнина, расположенном в шести верстах от города, был выстроен специальный арсенал для изготовления всякого рода фейерверков, ракет и других взрывных приспособлений. «Огненные снаряды» были выданы колодникам в огромном количестве. Граф Ростопчин отдал приказ главному полицмейстеру Ивашкину по возможности вооружить поджигателей, разбить их на группы и приставить к каждой группе двух-трех переодетых полицейских. Выдать колодникам огнестрельное оружие Ивашкин побоялся и, в конце концов, после долгих колебаний снабдил преступников пиками. И генерал-губернатор, и главный полицмейстер не могли не понимать, что оружие это будет в первую очередь направлено не против французов, а против простых горожан, по тем или иным причинам оставшихся в своих домах. Но настолько велико было желание поджечь Москву, чтобы обескровить врага, лишить его продовольствия и заставить сидеть в сожженном городе, что на подобные мелочи никто не обращал внимания.

В первые часы по оставлении русской армией Москвы колодники, почувствовав свободу и полную безнаказанность, как стая диких зверей, бросились грабить богатые дома, поднимая на пики дворовых людей, насиловать женщин, если таковые попадались им на пути. Переодетые в штатское полицейские не препятствовали разбою. Но были среди поджигателей и

настоящие патриоты, свято верившие в то, что пожар Москвы остановит наполеоновские орды. Они не марали свои руки грабежом и насилием. То были студенты Московского университета, семинаристы, казаки, раненые солдаты, простые горожане. «Они смотрели на это дело как на заслугу перед Богом», – писал о них впоследствии аббат Сюрюг. «Наполеон не хотел сначала верить, что можно было прибегнуть к такой крайней мере, – вспоминал далее французский священник, – но многочисленные поджигатели, захваченные со взрывчатыми веществами, подтверждали достоверность слуха, и многие из них были приговорены к расстрелу». И конечно, самым усердным помощником поджигателей стал сильный, с каждым часом усиливавшийся ветер.

Афанасию тогда не досталось пики. Он нес огромный мешок с «огненными снарядами». Раскольник, каторжник, лесной разбойник, Афанасий никогда раньше не задумывался над тем, патриот он или нет, любит ли свою Отчизну? В эти роковые для народа и государства минуты Огарков испытывал лишь привычную ненависть к сильным мира сего: к аристократам, к богатым, а также к несправедливости всего мироустройства, где одни так легко отправляют на каторгу других только за то, что те бедны, беззащитны и молятся иначе, чем велит придуманный богатыми закон. Он с огромным наслаждением поджигал особняки и дворцы, им овладела безумная страсть к разрушению. Товарищи ругательски ругали его за то, что он слишком торопится и не дает им как следует пограбить.

Правда, в одном дворце он и сам задержался надолго, завороженный его роскошью, бесконечной анфиладой раззолоченных комнат и залов. «Зачем одному человеку столько всего понадобилось? – недоуменно спрашивал себя Афанасий, невольно начиная ступать на цыпочках. – Али семья у него большая?» Он обнаружил незапертой дверь в кабинет хозяина дворца. Здесь на стене висел темный персидский ковер, украшенный саблями, кинжалами в серебряных оправках и роскошным старинным ружьем. Камин, облицованный яшмой кроваво-красного цвета, уральской яшмой, так хорошо знакомой Афанасию по каторжным каменоломням, был полон еще теплого пепла. Взломав письменный стол, Огарков обнаружил в ящике два инкрустированных перламутром футляра. В одном лежали дуэльные пистолеты, в другом – весь приклад к ним, включая пули и пыжи.

– Вот это – настоящий клад! – радостно воскликнул Афанасий и, зарядив пистолеты, засунул их за пояс крест-накрест. Пулями и пыжами он набил карманы своего заношенного до дыр кафтана.

В этот миг где-то в глубине дворца раздались крики его товарищей. Афанасий насторожил слух и разобрал: «Французы! Братцы, бежим!» Затем послышались выстрелы.

Афанасий, недолго думая, поджег «огненный снаряд», бросил его к двери, а сам выпрыгнул в окно. Едва он коснулся ногами земли, за его спиной раздался взрыв, и кабинет неизвестного вельможи озарился ярким пламенем. В недолгое время запылал и весь дворец – его великолепное убранство послужило отличным топливом.

...Афанасий не стал дожидаться товарищей, не узнавал об их судьбе. Да и не считал он товарищами случайно сбившихся в стаю преступников. Афанасий всегда держался обособленно и на каторге, и среди лесных разбойников. Ни в ком он не принимал участия, никого не подпускал к себе близко, даже староверов сторонился.

Огарков прекрасно себя чувствовал в одиночестве, особенно в такие страшные минуты. Он перебежал по мосту на другой берег Яузы, где было еще относительно тихо. Северо-восточный ветер уводил пожар в другую сторону. По яблоневому саду поджигатель поднялся вверх к роскошному особняку, который приметил еще с моста.

Старик-конюх, дававший в это время лошадям сено, при виде колодника с факелом в руке бросился ему наперерез. Расставив широко руки, он истошно завопил: «Не пушу, куда, куда! Не пушу! Ступай куда еще ни на то, чертяка окаянный! В доме люди, господа дома!» Именно на слуге Афанасий испробовал свою обнову, выстрелив старику в грудь из дуэльного

пистолета. Тот со стоном повалился наземь и больше не шевельнулся. Решив, что конюх прилгнул про господ, чтобы спасти дом от пожара, Огарков, не раздумывая, разбил окно на первом этаже и кинул в гостиную зажженный факел. Потом он метнулся к гостевому флигелю дома Мещерских, намереваясь поджечь и его, но внутри и впрямь послышались голоса. Однако то были не хозяева особняка – там уже всюю орудовали французы. Увидев, что основное здание горит, они выбежали на крыльцо. Афанасий успел отпрыгнуть в сторону и спрятаться за колонной. Два подвыпивших гренадера изумленно таращились на огонь и наперебой громогласно восклицали: «Ба?!», дивясь, как пожар перекинулся сюда с другого берега Яузы. Они бы непременно дали деру и поживились бы в более безопасном месте, если бы из противоположного флигеля не выбежала во двор охваченная паникой молоденькая девушка. Не сговариваясь, оба француза ринулись к барышне. Наблюдавший всю сцену Огарков тем временем перезарядил пистолет...

– А ведь мне вовсе не хотелось там оставаться, – признавался он Иеффаю, когда они сидели вечером на своем чердаке при свете догорающей свечи. Медленно потягивая медовуху, Геракл исповедовался маленькому еврею в своих больших грехах. – Если бы я тогда ушел, плюнув на этих французов и на барышню, которая непременно стала бы их добычей, может быть, меньше бы мучился потом? Как считаешь? – И, не дождавшись ответа, продолжил: – Этот окаянный дом с колоннами, старый конюх, барышня, сожженные заживо ее мать и нянька преследуют меня всю жизнь!

– Но если бы ты не спас девушку от насильников, твои грехи бы еще приумножились, – рассудительно заметил карлик.

– Теперь я понимаю, что это была ловушка, в которую меня загнал сам сатана-искуситель... – со вздохом продолжил Афанасий. – Французов я пристрелил как токующих тетеревов... Барышня же в отчаянии хотела броситься в огонь, чтобы умереть вместе с матерью, но я не дал ей этого сделать. Вытащил уже почти из пекла и приказал бежать к реке...

Сам Огарков еще несколько дней провел в оккупированной неприятелем Москве, прячась в подвалах и погребях сожженных домов. Ночами он выходил из своего убежища, чтобы снова и снова поджигать дома.

Город в эти дни представлял собой ужасное зрелище. Всюду валялись разложившиеся трупы лошадей, на полуобгоревших деревьях и фонарях висели бездыханные тела поджигателей. Убежавшие от пожара в ближайшие леса горожане постепенно возвращались. Голодные, полураздетые, словно пьяные от горя, они бродили по пепелищам собственных домов, тщетно отыскивая в остывшем пепле съестные припасы. Выгребали из-под груд хлама кровельное железо и сооружали шалаши-временки вокруг остовов печей. Афанасий видел, как матери приводили к французским солдатам своих несовершеннолетних дочерей и в слезах умоляли дать им хоть какой-нибудь еды в обмен на девственность. Страшно и больно было смотреть в их помертвевшие лица. Афанасий вспоминал белокурую голубоглазую барышню из дома у Яузских ворот и с тревогой думал: «Спаслась или нет?»

Когда огненные снаряды закончились, Огарков, наконец, решил покинуть Москву и пробираться на север.

– И кто бы мог поверить, что в костромских лесах, в стане разбойников, спустя полгода я вновь повстречаю эту московскую барышню? – покачал головой Геракл. – И опять мне пришлось ее спасать, как будто Господь приставил меня ангелом-хранителем к этой девушке...

Он рассказал Иеффаю, как помог Елене добраться до Санкт-Петербурга, как они поселились на Васильевском острове, в доме его сестры Зинаиды, державшей в ту пору табачную лавку, и как проникли на бал-маскарад в Павловске, к матушке-императрице. Этот бал оказался для Афанасия роковым. Он был пойман, разоблачен и вновь отправлен на каторгу.

– Ради этой барышни я пожертвовал свободой, – бил себя в грудь уже слегка захмелевший Геракл. – Ведь я сунулся в самое пекло, когда, напротив, надо было бы схорониться в

каком-нибудь раскольничьем скиту, подальше от столицы. А я дорогим гостем явился к самой матушке-императрице на поклон! Да только меня не звали в те гости-то... И все ради нее...

– И ради себя тоже, – поучительным тоном вставил Иеффай. – Ты стал ее вечным должником, помни! Ты убил ее мать и лишил ее дома!

– Ты, как всегда, прав, еврей, – Огарков ни за что не хотел называть напарника по имени. – Я чувствовал свою вину перед этой юной графиней и так и не признался ей в содеянном. Она считала, что это те два пьяных француза подожгли ее дом и застрелили старика-конюха. И до сих пор, наверное, так считает...

– Откуда ты знаешь, что она жива? – возразил карлик. – Ты разве потом видел ее?

– Ты тоже ее видел...

В тот момент, когда Елена, переодетая служанкой, подошла к ним на Хитровом рынке, Афанасию показалось, что он спит наяву и ему грезится сон из прошлого.

Когда они в тринадцатом году квартировали у его сестры Зинаиды на Васильевском острове, гардероб юной графини был более чем скуден. Роскошные наряды сгорели в том роковом пожаре, а те, которые успел купить ей дядюшка Илья Романович, рассчитывая, что племянница станет его женой, Елена с брезгливостью бросила в заново отстроенном особняке, там же, в Москве. Траурное, лиловое платье «московских осиротевших невест», подобное тому, какие носили в ту печальную пору многие ее сверстницы, полученное в качестве подачи от провинциальной благотельницы, то самое платье, в котором она обвенчалась со штабс-капитаном Савельевым, ей опротивело. Оно напоминало ей только о тяжелых моментах, оскорблениях и обмане. Поэтому, оказавшись в Петербурге, юная графиня облачилась в старое, поношенное, черное платье Зинаиды. Правда, она и в нем не выглядела ни горничной, ни приказчицей из магазина.

И вот, семнадцать лет спустя, Елена вновь предстала перед Афанасием в простом черном платье служанки и в плаще без всяких украшений. Это был совсем не тот наряд, который можно было увидеть на богатой даме! Сердце Геракла в тот миг оборвалось. Все эти годы, когда приходила особенно тяжелая минута, он вспоминал Елену, воображая ее вновь возвышенной, поправшей своего врага, одетой роскошно, кушающей тонкие яства с золотого блюда... И ему становилось легче, и в его сердце, где прежде жила лишь лютая ненависть к богатым и знатым особам, крепло торжествующее чувство осуществленной мести. Да, он пойман, посажен на цепь, и может быть, в этой мерзлой земле, среди лютых людей, где негде услышать человеческое слово, его и схоронят. Но она теперь счастлива и богата, а сделалось это благодаря ему, никому не известному острожнику, всегда угрюмому, молчаливому! Только так и мог торжествовать этот человек, только этой верой он и жил. Теперь Афанасий был уничтожен. Значит, напрасны были все их старания? Зря они пробирались в Павловск, чтобы увидеться с матушкой-императрицей и восстановить справедливость? Даром он дался в руки солдатам и вновь тянул проклятую каторжную лямку? «Его графиня», как он про себя давно называл Елену, осталась ни с чем!

– У меня будто разум помутился, и я пошел за ней следом. Сам не понимаю зачем.

– Ты и впрямь был похож на сумасшедшего, – авторитетно подтвердил Иеффай.

Но вскоре Афанасий понял, что ошибся. Елена жила в богатом особняке на Маросейке. Сначала он подумал, что этот дом принадлежит той самой индианке, но, расспросив местных мальчишек, узнал, что особняк недавно сняла французская виконтесса со своей воспитанницей-индианкой. «Вона, вишь, легка на помине!» – указали ему на выходящую из дома виконтессу.

– Когда я увидел ее в богатом платье, от сердца сразу отлегло, – признался Геракл. – Думал, не вернуться ли мне к тебе на рынок? Ну, кто она теперь стала и кто я? И о чем нам говорить? Она ведь меня даже не узнала...

– Вернуться было бы разумней, – кивнул карлик.

– А вышла она на крыльцо затем, чтобы встретить твоего друга Глеба, – продолжал Афанасий. – Знать, увидела из окна, как он приехал на извозчике... Поджидала!

– Верно, – снова кивнул Иеффай, – она и приходила к нам, чтобы узнать его адрес, потому что та прелестная индианка, ее воспитанница, сильно заболела.

– Я схоронился на другой стороне улицы, в небольшом садике, где ограда в одном месте была сломана, и наблюдал оттуда за крыльцом, – Афанасий вздохнул так тяжело, словно ему давила на грудь одна из гирь. – Хотелось еще поглядеть на нее, убедиться, что удалось ей богатства достичь! Уж больно в нищете жить горько! Когда они с твоим приятелем Глебом вошли в дом, я хотел уже покинуть свое укрытие, как вдруг заметил тут же, в садике, за старым каштаном, прячущуюся женщину. Она тоже следила за домом!

Извозчик, привезший молодого доктора, ждал у особняка на Маросейке. Вскоре Огарков увидел, как Глеб выносит на руках девушку, закутанную в плащ, и садится с ней в карету. Следом за ним сели Елена со служанкой, после чего извозчик тронул лошадей. В тот же миг женщина, стоявшая за каштаном, покинула свое укрытие и быстрым шагом пустилась по мостовой вслед за каретой. Ей легко было не упускать из виду свою цель, потому что карета ехала медленно, по всей видимости, из-за тяжелого состояния больной индианки.

Афанасий немедленно выбрался из засады, перешел на другую сторону улицы и направился в ту же сторону, не упуская при этом из виду ни женщину, ни извозчика. Он пытался понять, что представляет собой загадочная незнакомка, по ее платью, но безуспешно. Платье было скромное, черное, с потрепанным подолом, который иногда, обходя лужу, женщина поднимала слишком высоко, отчего мелькали не слишком свежая нижняя юбка и стоптанные каблуки ботинок. Преследовательница держалась прямо и даже при быстрой ходьбе умудрялась сохранять некоторое изящество походки. С ее плеч свисала кашемировая шаль – такие шали, некогда роскошные, как и лилейные плечи, которые они обвивали, а ныне полинявшие и заштопанные, сотнями продавались на Хитровке для нужд тамошних красавиц. На голове у незнакомки красовалась шляпка, которую она не без шика носила на самом затылке. В целом со спины она не казалась ни обедневшей благородной дамой, ни особой легкого поведения, ни служанкой, ни мещанкой. Это было нечто неопределенное.

– Так мы и шли от Маросейки до Яузских ворот. Мне все время хотелось забежать немного вперед, чтобы разглядеть лицо женщины, следовавшей за каретой, – признался Геракл, – однако я опасался ее спугнуть. Мне нужно было узнать, зачем она пряталась, почему следила за графиней? Теперь уж за виконтессой... – поправился он с грустью, словно новый титул, приобретенный Еленой, отнимал у совершенного им ради нее подвига часть блеска.

– Ты сказал, до Яузских ворот? – встрепнулся Иеффай. – Неужели Глеб повез больную девушку в дом своего отца?

– А ты почему знаешь, что там живет его отец?

– Я однажды был в том особняке много лет назад в гостях у Евлампии.

– Так вот что я тебе скажу, друг, – неожиданно проникновенным и вместе с тем зловещим голосом произнес Афанасий, – это и есть тот самый дом, который я поджег в двенадцатом году! Проклятое для меня место... Тяжело мне было приближаться к нему, ноги не шли, будто за ними волочились кандалы...

Дом, во двор которого он мысленно возвращался на протяжении многих лет, предстал перед Огарковым почти таким же, каким был до пожара. И тогда тоже стояли сумерки... Он так взволновался, что едва не потерял из виду женщину, следившую за виконтессой. А та пристроилась на противоположной стороне улицы, под аркой чьих-то ворот, и, делая вид, что оправляет сбившуюся шаль, наблюдала за тем, как из кареты выходили пассажиры. Афанасий же прижался к чугунной ограде дома Белозерских, за которой росла плакучая ива. Она свешивала ветви прямо на улицу, и это, как ему казалось, было идеальным укрытием. Однако он не заме-

тил, что напротив расположена аптека с газовым фонарем на крыльце. И как раз в то время, когда город окончательно погрузился в темноту, на крыльце появился аптекарский подмастерье и разжег фонарь.

Как только извозчик тронулся с места, дама вышла из-под арки и неспешным шагом направилась в обратный путь, словно совершенно удовлетворившись результатом слежки. Вдруг она остановилась и оглянулась. Как предположил Огарков, женщина высматривала, в котором окне зажгутся свечи, чтобы знать наверняка, в какую комнату поместили больную.

Внезапно совсем рядом, в саду за ивой, раздался голос Елены, который Афанасий узнал бы из тысячи голосов. Она говорила с каким-то мужчиной, которого, судя по ее тону, была не очень рада встретить. Но страха ее голос не выражал, мужчина отвечал почтительно и явно не был ее врагом. Бывший колодник успокоился.

Он вновь взглянул в сторону женщины, следившей за особняком. И тут его ждало такое потрясение, что он, забыв об осторожности, едва не вскрикнул. Газовый фонарь светил ярко, и Афанасий имел возможность рассмотреть на щеке преследовательницы хорошо ему знакомую «слезу», характерную родинку под глазом. Не дослушав разговора, происходившего по ту сторону ограды, он решительно двинулся вслед за женщиной, едва та, отвернувшись, пустилась в путь.

Помня давнюю ссору с сестрой, Афанасий не торопился ее окликать. Его мучил вопрос, что Зинаида делает в Москве, и еще в большей степени изумляло, зачем она следит за Еленой.

О сестре все эти годы Огарков ни разу не вспоминал. Вычеркнул ее из своей жизни после того, как она предала веру их родителей, подалась в лютеране. Если бы не Елена, взял бы еще один грех на душу, убил бы Зинку семнадцать лет назад, зарубил бы топором за подлую измену! Он шел вслед за сестрой и злился, как встарь, припоминая, какую рану она ему нанесла. А та бойко шелкала каблуками по камням мостовой и время от времени передергивала плечами, поправляя шаль. Каждое ее движение злило брата еще больше. Его душила ярость. Афанасий был готов сорвать у нее с затылка кокетливую шляпку и растоптать ее.

Вскоре Зинаида свернула в темный переулок, где светился единственный фонарь возле питейного заведения. Именно в дверях трактира и исчезла его сестра. Огарков, с минуту потоптавшись на крыльце, все-таки решился войти внутрь. Карманы его были совершенно пусты, ведь Афанасий ничего не заработал, покинув товарища.

Открыв дверь, он сразу был оглушен и словно отравлен кислыми сивушными парами, которыми была наполнена обширная комната с низкими потолками. С ядовитым духом перегара мешался запах жирных мясных щей. У Огаркова закружилась голова – он некстати вспомнил, что весь день ничего не ел. При входе, в углу, притулился на лавке седой старик в новой вышитой косоворотке, уже изрядно пьяный. Он играл на балалайке, держа ее с равнодушием и отвращением, словно обнимая немилую жену. Вместо мелодии выходило у него нечто настолько плаксивое, бестолковое и безнадежное, что хотелось немедленно умереть или напиться вдрызг. Впрочем, вероятно, такой аккомпанемент вполне отвечал целям трактирщика и вкусам посетителей. Сидевший за соседним столом коренастый мужчина в мещанском платье то и дело хватал приятеля за грудки, что-то шепотом ему вещая. Он был совершенно пьян, по его щекам катились мутные слезы, рядом возвышалась уже на две трети опорожненная бутылка с кизляркой. Приятель тупо кивал, вряд ли понимая, где находится. К паре приглядывался жуликоватого вида парень, старавшийся держаться в самой тени, в углу. Афанасий видал его не раз на Хитровке – это был мелкий воришка.

Были здесь и женщины известного пошиба, нимфы, призванные услаждать досуги местных сатиров. Одна – сурового вида мрачная баба в синем сарафане, в красном платке и с подбитым глазом, нарумяненная неумело и наивно, как Миликтриса Кирбитьевна на лубочной картинке. Другая, одетая тоже в ситец, но по-городскому фасону, совсем молоденькая, востроносая девчонка с наглым взглядом и пунцовой лентой вокруг головы. Обе сидели по углам и

ждали, когда их угостят. Но мужики и мастеровые, составлявшие основную массу посетителей, не спешили расходовать свои скудные средства на любовь, предпочитая сперва утолить голод и жажду иного рода.

Огарков не сразу отыскал взглядом сестру. Зинаида сидела спиной к нему, в темном углу, за самым дальним столом, и, к его удивлению, была не одна. Мужчина, с которым она разговаривала, выглядел франтовато, резко выделяясь среди простолюдинов, заполнивших кабак. Серый цилиндр и серые перчатки, подобранные в тон остальному костюму, говорили о его стремлении сойти за барина, но беспокойные порывистые движения, втянутая в плечи голова и бегающий жестокий взгляд говорили об ином. По мере того как Афанасий приближался к столику, за которым сидели Зинаида и франт, он все больше убеждался в том, что когда-то уже видел этого человека. У него появилось намерение сесть за соседний столик боком или спиной к этой парочке и подслушать их разговор, но этому не суждено было сбыться. Стоило человеку в сером бросить мимолетный, но цепкий взгляд на бывшего колодника, как последовала незамедлительная реакция. Франт вскочил с лавки, дрожа всем телом, и, подавшись вперед, хрипло воскликнул:

– Раскольник!

– Кремень? – в свою очередь оторопел Огарков, впервые нарушив многолетний обет молчания. – С того света, что ли, явился?!

Семнадцать лет назад, когда князь Белозерский послал Иллариона в погоню за племянницей, они сошлись с Афанасием в разбойничьем лесу, в старой, ветхой избенке, не на жизнь, а на смерть. Раскольник тогда оказался ловчее и всадил Кремню под ребра нож, после чего поджег избу.

– Я и на этом свете неплохо живу, не добил ты меня, как видишь, – с ненавистью усмехнулся Калошин, – так что должок за мной!

– За мной тоже долги не пропадают, – в свою очередь одарил противника не самой приятной улыбкой Огарков. – Вот только с сестрой перемолвлюсь словечком. А ты покамест подожди меня на крыльце. Я недолго!

– С сестро-ой? – протянул Илларион, окидывая взглядом ошеломленную Зинаиду. – Добро, говорите!

И поспешно ретировался.

Зинаида, успев опомниться, делала вид, что ничего особенного не произошло. Кивнув на прощание Иллариону, она поправила на плечах шаль и одарила брата кроткой, заискивающей улыбкой.

– Здравствуй, что ли? – резко бросил Афанасий, усаживаясь за стол.

– Да я здорова... Вот ты... Не узнать! Как ты поседел, братец! – воскликнула Зинаида, и глаза ее увлажнились. – Это сколько же мы не виделись?

– Хватит зубы заговаривать! – грубо прервал он ее. – Сейчас начнешь под вилами виться, змея... Что ты делаешь в Москве?

– Что я делаю? – широко раскрыв глаза, Зинаида так мастерски сыграла искреннее удивление, что ей позавидовала бы иная актриса на амплу инженю. – Живу... Как люди живут...

– И давно?

– Вот уже месяц почти... – Зная, чем расположить к себе брата, Зинаида решила сразу раскрыть все карты. – Меня, между прочим, отец Иоил в Москву направил, к нашим братьям и сестрам во Христе...

– Отец Иоил?! – не поверил своим ушам Огарков. – Так ведь ты давным-давно к немцам подалась? Табаком торговала!

– То-то, что давно! Когда это было, братец! – махнула она рукой. – Оступиться всякий может. Я опять вернулась к нашей вере...

– А по роже и тряпкам твоим не скажешь! – Афанасий растерянно оглядел ее. – Одета как... Шляпка... И община тебя приняла?

– Отец Иоил принял, – уклончиво ответила она, – и направил из Питера в Москву...

– Оно и понятно, подальше послал, тут ведь о твоих подвигах никто не знает!

– Все грешны, братец, – спокойно ответила она, – и один великий Бог нам судья!

Афанасий, сбитый с толку и несколько смущенный, собирался вновь надерзить сестре, но их беседу прервал половой. Он спросил, будут ли посетители что-то заказывать.

– Затем, что просто так сидеть у нас не положено... – заметил парень, изучая опухшими глазами пятна на желтеньких обоях, которыми был оклеен «чистый угол». – Тут заведение приличное!

И впрямь, другие посетители трактира сидели далеко не «просто так» – звон стаканов и выкрики слышались со всех сторон. Баба в платке и девушка с пунцовой лентой тоже были приглашены «в кунпанию» и вовсю веселились, судя по их натужно громкому смеху.

– Что ж, ты голоден? – поинтересовалась Зинаида.

– Я без гроша, – признался Афанасий.

– Так я тебя накормлю, братец! – радостно воскликнула она и заказала ужин на двоих – по местным меркам до того изысканно роскошный, что половой от удивления низко ей поклонился как барыне.

– Откуда у тебя деньги? – мрачно спросил брат, когда половой, воодушевленно шаркая кривыми ревматическими ногами, поспешил на кухню.

– Да я ведь продала дом в Гавани и лавку, – соврала Зинаида.

– Табачную лавку?

– Что ты! – махнула она рукой. – Я табаком бросила торговать еще в тот год, когда тебя упекли на каторгу из-за этой милой графинюшки!

– Елена сейчас в Москве, – исподлобья посмотрел он на сестру, – и ты об этом знаешь... Зачем за ней следишь? Что тебе от нее нужно?

– А ты не догадываешься? Сколько времени она в моем доме гостила? Ела, пила, спала – и все задаром! А сколько обещаний было с ее стороны? Не помнишь? Мол, верну наследство – озолочу вас с братом. Пускай расплачивается! – решительно заявила она.

– Ни копейки, слышишь, ни копейки с нее не возьмешь! – в гневе ударил он кулаком по столу, так что все сидящие в зале на него оглянулись.

– Это еще почему? – возмутилась Зинаида. – Я лавочница, братец, и не привыкла упускать свою выгоду. Да и графинюшка твоя небось не обеднеет. Видел, какой особняк сняла на Маросейке?.. Платье какое...

Хотя Афанасий был страшно зол на сестру в ту минуту и готов был разорвать ее на куски, он все же понимал, что Зинаида вполне заслужила награду за то, что когда-то они с Еленой почти два месяца прожили у нее. Но признаться сестре, что взять какую-то мзду с той, которую он в былые времена осиротил и обездолил, Афанасий не мог.

Половой принес огромный деревянный поднос и споро заставил стол мисками. Тут были жирные щи со сметаной, кулебяки с рыбой и бараньи потроха с пареной чечевицей. Одурманный ароматами еды, бывший каторжник набросился на угощение. Зинаида ела быстро, но аккуратно, как кошка, и щурилась на брата лукавыми глазами женщины, которая во что бы то ни стало намерена добиться своего.

Когда наелись и спросили чаю, заговорили снова, уже куда более мирно. Афанасий разоткровенничался и поведал сестре о каторге, о мытарствах и о своей новой жизни бродячего циркача, которой был весьма доволен. Поднеся к губам очередной стакан с чаем, Огарков вдруг вспомнил:

– Что же это я, а?! Меня ведь Кремень ждет!

– Полно! – засмеялась Зинаида. – Его давно и след простыл! Как он увидел тебя, из него чуть дух не вышел! Я его таким никогда не видела...

– А ты давно ли его знаешь? – поинтересовался Афанасий.

– Давно, – не стала скрывать сестра, – еще по Петербургу. Он служил в Управе частным приставом... Видались.

– Вот как? – удивился Огарков. – То-то мне все частные приставы всегда разбойниками казались!

– Он мне денег должен, – не вдаваясь в подробности, сообщила Зинаида, – только этот прощелыга клянется, что князь Белозерский ему жалованья не платит. Ну, и тянет время...

...Иеффай, чрезвычайно увлеченный рассказом, вдруг прервавшимся, даже открыл рот, как ребенок, который слушает сказку. Афанасий молчал долго, потом выцедил в кружку последние капли медовухи и выпил.

– Кремень и в самом деле струсил, – с презрением произнес, наконец, Геракл. – На крыльце никого не было. Зинаида предложила взять извозчика и поехать к ней, желала показать, как устроилась, чтобы я чего дурного не думал. Ночевать оставила. А устроилась-то она отлично, по ее платью и башмакам никак нельзя было догадаться... В Замоскворечье снимает полдома у купчихи, вдовы. Девчонку-прислугу имеет! Мне постелили как раз в спальне купца покойного, на его кровати бывшей. Напротив стоял диван. И тут...

Афанасий вновь сделал паузу. Иеффай, ожидавший чего-то страшного или даже мистического, широко распахнул глаза.

– Над диваном висел ковер, а на ковре – всякое оружие. Прямо как в том доме, где во время пожара Москвы я нашел дуэльные пистолеты. Только, понятно, куда поплоше, разве купец понимает в этом деле... Ему бы деньгу зашибить да с дворянами потягаться! Вот и завел себе, дурак, ковер, а там большей частью дрянь с Хитровки. Но кое-что все-таки там было!

Афанасий сглотнул.

– Дуэльный пистолет с золотой буквой L на рукоятке. Голову даю на отсечение, это был один из тех двух пистолетов, из которых я застрелил французов! Я их выбросил, когда у меня закончились патроны, а кто-то, видать, подобрал, и один из этой парочки оказался у купца.

– Ты не мог перепутать? – нахмурился Иеффай. – Мало ли таких пистолетов?

– Ты в этом не понимаешь, так молчи! – вспыхнул Афанасий. – Эти пистолеты были сделаны на заказ. На одном была золотая буква L, на другом – серебряная N. Это был тот самый пистолет с буквой L.

Иеффай не возражал больше. Афанасий вновь замолчал. Рассказ, очевидно, давался ему все труднее.

– Ночь я не спал, – признался он, наконец. – Все этот пистолет на ковре, свидетель и соучастник моего старого страшного греха! Едва я проваливался в сон, как начинал слышать его... дыхание. Можешь считать меня сумасшедшим, но я и правда слышал той ночью, как дышит пистолет...

– Не нравится мне это все, – покачал головой Иеффай, – плохо, когда такие вещи возвращаются.

– Я об этом тоже думал, – признался напарник. – К чему бы такой знак? Уж не к войне ли?.. А впрочем, давай спать...

Афанасий загасил свечу и улегся на топчан. Вскоре раздался его мерный, протяжный храп. Иеффай же не мог уснуть до рассвета, вновь и вновь пересматривая внутренним зрением историю жизни Геракла. А когда ему все-таки удалось провалиться в сон, он увидел царя Николу на вороном коне. Тот был сильно разгневан, и в левом глазу у него горел «раскаленный гвоздь». Он поднял руку, указывая перстом на Иеффая... Но в следующий миг царев палец уже превратился в дуэльный пистолет, на котором зловеще горела золотая литера L. Маленький циркач в костюме Арлекина от страха зажмурил глаза и услышал жуткое сиплое дыхание...

«Когда пистолет, из которого убивали, дышит, – внезапно услышал он знакомый, удивительно ясный и спокойный голос люблинского цадика, – это значит, он хочет снова убивать...»

Глава вторая

Как трудно негодяю стать честным человеком. – Солевой раствор и Божий промысел. – Доктор Гааз молится. – Князь Белозерский идет ва-банк

Илларион Калошин чувствовал себя зверем, загнанным в западню. У него перед глазами то и дело вставала страшная картина из прошлого, когда крестьяне князя Белозерского окружили его в Тихих Заводах на болоте и травили собаками... Тогда его спасло чудо, капризным образом воплотившееся в облике самого князя Ильи Романовича. И нынче он видел спасение только в Белозерском, а вернее, в его деньгах.

Илларион вновь был окружен недругами, куда более опасными, чем деревенские злые псы. Так, на его пути неожиданно возник чиновник Третьего отделения Савельев. Тот отнесся к встрече спокойно, стало быть, еще не знал, что бывший частный пристав находится в розыске, но ведь мог со дня на день об этом узнать! К тому же если бы выяснилось случайно, что известный ему Калошин живет по документам некоего тверского мещанина Лесака, расследование стало бы неизбежным!

А ведь еще десять дней назад Илларион считал, что не может с ним случиться худшего несчастья, чем то, которое его постигло при встрече с Зинаидой Толмачевой, бывшей содержательницей тайного публичного дома. Они случайно столкнулись в Замоскворечье. Зинаида выходила из дома купчихи-вдовы, где снимала половину, а Илларион отправлялся в магазин пана Летуновского, располагавшийся по соседству. Раз в неделю он подробно докладывал Казимиру Аристарховичу обо всем, что творится в доме князя. Встречались они в магазине, потому что там визиты Иллариона никому не бросались в глаза. К тому же Теофилия в последнее время погрузилась в такую иступленную религиозность, что и сам Летуновский старался бывать дома реже. Иллариона все больше тяготили эти еженедельные отчеты. Он сам в свое время вызвался быть осведомителем в благодарность за протектирование, но князь ему до сих пор не заплатил ни копейки, а значит, и благодарить Казимира ему особо не за что...

Зинаида тогда сразу узнала старого знакомого и взяла его в оборот. «Ага! Господин частный пристав, благодетель, который украл у меня последние деньги!» – «Я же тебя, дуру, тогда предупредил об облаве! – возмутился Илларион. – А то бы гнила сейчас на каторге!» – «Не слишком ли ты много взял за упреждение?» – не сдавалась Толмачева, повышая голос. Сцена грозила разрастись в скандал, на них уже оглядывались прохожие. Какой-то любопытный господин остановился и стал глядеть, ожидая интересной развязки. «Хорошо, хорошо, – согласился Калошин, чтобы как-то утихомирить свою старую приятельницу, – будем считать, что я твой должник, только у меня сейчас ни гроша за душой. Князь Белозерский, у которого я служу, не платит мне жалованья!» – «Ты служишь у князя Белозерского? – Зинаида запнулась, на миг задумалась, а затем с неожиданной улыбкой заявила: – Это другое дело! Пойдем отсюда, на нас глаза! Мне надо кое-что рассказать тебе!»

Они устроились за углом, в трактире. Калошин от растерянности и расстройства выпил подряд две большие рюмки отвратительной водки, отчего почувствовал себя еще более несчастным. А бывшая хозяйка публичного дома между тем поведала бывшему частному приставу о том, кто на самом деле скрывался под именем барона Лаузаннера, написавшего на нее и на Калошина донос в Управу. «Это был человек Елены Мещерской, графинюшки», – с ухмылкой сообщила она. «Было у меня такое чувство, что дело там не обошлось без пятого туза! – вспомнил Илларион. – Всем нам, как поглядишь, будто шулера карты сдавали... И князю в том числе. Ведь он почти разорен! Племянница, значит, объявилась и действует. Вот стерва!» – «Я навела кое-какие справки, – продолжала тем временем сводня, – она приехала из Парижа под именем виконтессы де Гранси!» – «Авантюристка! Чужим именем прикрылась! Правильно князь ее в свое время назвал!» – Калошин был вне себя. «Похоже, это ее настоящее имя, – воз-

разила Зинаида, – она – вдова. Видимо, наша прелестница вовремя вышла замуж за знатного и богатого старикашку!» – «А прикидывалась недотрогой! – съязвил дворецкий. – Дядюшке родному отказала, а перед французиком не устояла!»

Иллариона все время подмывало спросить, чем же Зинаида, собственно, так насолила графинюшке, что та ее лишила всего имущества, прибыльного дела и едва не упекла на каторгу, но задать такой вопрос он не решался, прекрасно понимая, что раненого зверя дразнить не стоит.

«Так главный счет, я полагаю, она предъявит как раз любимому дядюшке! – сводня ухмылялась, показывая ряд острых, довольно еще крепких зубов. – Вот потеха-то пойдет!» – «Думаешь, она уже в Москве?» – поежился Калошин. «Эй, человек! – неожиданно повысила голос Зинаида, окликая пробежавшего мимо парнишку-полового. – Принеси нам “Московские ведомости”, последние нумера!»

И впрямь, сообщение о приезде в Москву виконтессы де Гранси было опубликовано в предпоследнем номере. Там же был указан и адрес съемного особняка, где она остановилась «со свитой».

Зинаида настояла, чтобы они встречались каждый день, в определенное время, в трактире в Подколокольном переулке. Калошин чувствовал себя рыбой, вздернутой на крючок, но отказаться не осмеливался, потому что понимал – сводня стережет не столько его, сколько деньги, которые он ей пообещал. К тому же Зинаида вела неустанное наблюдение за прибывшей в Москву виконтессой и могла сообщить ему все нужные сведения. В тот вечер, когда в трактире неожиданно появился Афанасий, они успели перекинуться только парой фраз. Зинаида сообщила дворецкому, что виконтесса совершенно внезапно перебралась в дом князя вместе со своей заболевшей воспитанницей, и что их разместили в гостевом флигеле. «Как успели? Я только что оттуда! И кто посмел распоряжаться без моего ведома?!» – взбеленился Калошин. Тут же он решил, что это уголовное предприятие устроил не кто иной, как ненавистный ему старый Архип, открыто выражавший свое презрение и к персоне дворецкого, и к его власти в доме. Калошин уже внутренне репетировал патетический монолог, который исполнит перед князем, донося на старика. Того ушлют, наконец, в деревню... И тут, словно черт из табакерки, появился Раскольник!

Илларион вовсе не собирался ждать Афанасия у трактира для дальнейшего выяснения отношений – он помчался в княжеский особняк бегом, хотя обычно ступал размеренным шагом, разыгрывая из себя барина, что производило большое впечатление на прислугу женского пола. И было отчего бежать: теперь он был обложен со всех сторон. Савельев, который в любую минуту мог узнать, что он находится в розыске; виконтесса де Гранси, жаждущая мести; Зинаида, требующая возврата украденных у нее под шумок денег... Да еще вот Раскольник! Именно Афанасий, чуть не лишивший его однажды жизни, внушал Калошину наибольший, совершенно животный страх.

Ворвавшись в дом, он первым делом направился не к князю, а в комнату экономки. Та, давно успев прийти в себя после неожиданного объяснения, сидела за столом и при свете единственной свечи делала пометки на страницах толстой книги, где велись домовые счета. При виде запыхавшегося дворецкого, остановившегося перед ней с горящим взглядом, женщина нахмурилась:

– Чего тебе? Неужто опять со своими глупостями? Оставь ты меня, ради Христа, – не видишь, счета выверяю!

– Решайся сейчас, Изольда Тихоновна! – в голосе Иллариона было нечто, заставившее его любовницу содрогнуться. – Государь закрыл Москву для въезда. Пока еще разрешено выезжать из города, надо бежать!

– Да ты не уймешься нынче?! – воскликнула экономка. – Словно бес в тебя вселился!

– Послушай, Изольда Тихоновна! – нагнувшись, он крепко взял женщину за плечи. – Беса ты зря помянула. Он и так всегда со мной рядом ходит, ни к чему его лишний раз звать. Надо спешить с нашим делом, а не то мы с тобой вскоре окажемся на улице, с пустыми карманами и пойдем по миру... В кулак свистеть!

– Что ты несешь?! – Экономка откинулась на спинку стула, недоверчиво глядя в лицо любовника. – Просто князь не платит тебе жалованья, и ты решил его обокрасть! Впрямь, каторжное семя! Связалась я с тобой на свое горе...

– Думай как хочешь, только думать-то уже и недосуг! Пора деньги хватать, какие еще целы, да бежать, пока выехать из города можно! – Теперь он говорил зловещим шепотом, оглядываясь на дверь. – В Москву вернулась племянница князя! Это та еще особа, ей погубить человека – нипочем! Авантюристка и мошенница!

– Племянница? – пролепетала сбита с толку Изольда. – У князя есть племянница?

Это известие ее подкосило. Чуть не с тех самых пор, как они с князем сделались любовниками, экономка строила далеко идущие планы. А когда заболел Борис, Изольда думала, не переставая, как бы все хорошо устроилось, если бы он («Не приведи Господь, конечно!» – мелко крестилась при этом женщина) отдал Богу душу. Она тогда могла бы родить князю наследника («Да хоть бы от Иллариошки!») или просто под предлогом беременности (ложной, а, может быть, и настоящей) женить на себе Белозерского. «А что тут такого? – размышляла она. – Как подумаешь, что в свете бывает! Что я не благородных кровей – не беда! Нынче вон князья даже на цыганках женятся, а я все-таки женщина грамотная, образованная!» Даже те крохи, что оставались еще у Ильи Романовича, вполне устроили бы Изольду, которая вовсе не имела ничего и которой неоткуда было получить наследство. И тут, как гром с ясного неба, объявилась какая-то родственница!

Илларион между тем в самых мрачных красках обрисовал ей ситуацию, рассказав о том, как Илья Романович незаконно завладел домом и наследством Мещерских, и объяснил, что обиженная им сиротка нынче стала одной из самых богатых женщин в Европе, и, вернувшись в Россию, жаждет мщения. У Изольды Тихоновны потемнело в глазах. Она упала с облаков на землю, и удар был жестоким.

– Ну, что скажешь теперь? – вновь оглянувшись на дверь, спросил дворецкий. – Говорю тебе, возле Белозерских делать больше нечего, скоро им самим на еду неостанет, куда уж прислугу держать! Берем деньги и бежим немедленно!

– Погоди... Ты меня теперь оставь, не торопи... – Изольда говорила медленно, глядя мимо любовника, ее грудь часто и тяжело вздымалась, на щеках загорелись красные пятна. – Сейчас я тебе ничего не скажу... Поди к себе в комнату. Я, чуть погодя, к тебе приду.

Князь в тот вечер так и не узнал о том, что племянница-авантюристка без его ведома поселилась в гостевом флигеле.

* * *

Зинаида плохо спала уже не первую ночь. Она ворочалась с боку на бок, хотя грандиозные пуховые перины и подушки, предоставленные хозяйкой-купчихой, так и манили уснуть. С тех пор как она узнала о прибытии виконтессы де Гранси в Москву, постель уже не казалась такой покойной бывшей содержательнице публичного дома. О ее прошлом в Санкт-Петербурге здесь, в Москве, знал только один человек – Илларион Калошин. Его Зинаида не боялась нимало, он сам всего боялся, так как находился в розыске. Другое дело – виконтесса, которая с помощью своего частного сыщика развела о ней всю подноготную и могла в любой момент отправить ее на каторгу. «Не станет она со мной церемониться, сразу сдаст жандармам и заявит, ко всему прочему, что я украла у нее ребенка! И тогда в управе из меня раскаленными щипцами вытянут правду...» Постель жгла ей кожу.

Пытки в России были с недавних пор отменены указом императора Александра Павловича, однако в народе не сильно верили в законопослушность жандармов. Разве император Павел, например, не ввел для крепостных крестьян трехдневную барщину? Однако помещики плевали на этот указ и по-прежнему драли со своих рабов семь шкур. Россия велика, как тут проследить за каждым, не нарушает ли он закон? Пыток Зинаида боялась до обморока.

Уже месяц она жила в Москве, и до сих пор положение ее оставалось неопределенным. Сводня еще не пришла в себя после своих питерских злоключений. Разгон притона, мирно существовавшего в Гавани столько лет под крылом пристава Калошина, утрата всего накопленного состояния... Барон Лаузаннер, исполнявший волю Елены, позаботился о том, чтобы она осталась без гроша. Позаботился бы он и о том, чтобы Зинаида оказалась за решеткой, но ловко устроенная сводней ловушка сработала не хуже той, что подстроил барон. Пожар отгородил ее от преследователей. Лаузаннер погиб. Ей удалось бежать.

После этого несчастья у нее осталась только шкатулка с драгоценностями, которые она выманила у княгини Головиной. Зинаида, хитрая от природы и многому наученная горьким опытом, понимала, что обнаружить хоть одну вещьцу оттуда – значит подвергнуть себя риску. Она не решилась продавать драгоценности в Петербурге. К тому же ее уже объявили в розыск. Следовало срочно бежать. В эту минуту ей некуда было броситься, как к отцу Иоилу, старому своему покровителю, окормлявшему петербургскую общину староверов. Он был еще жив и вполне бодр для того, чтобы оказать помощь блудной овце, вновь прибившейся к стаду. Зинаида слезно покаялась во всем: в своем отпадении от веры отцов и переходе в лютеранство, в греховной торговле табаком (о торговле человеческим телом она благоразумно умолчала, решив, что для старенького попа-раскольника это слишком). Клялась и божилась, что решила переменить жизнь и вновь следовать всем заветам отеческого благочестия. Но для этого ей нужно уехать – тут ее многие знают и будут преследовать... Поверил ли отец Иоил искренности ее слез или нет, но помощь он ей оказал: Зинаиде было дано письмо к одному из столпов московской староверческой общины и немного денег на дорогу. Она представила дело так, что осталась без единого гроша.

В Москве ее приняли, несмотря на письмо, настороженно. Или это казалось сводне, опавшейся после краха всех и вся, или, в самом деле, излишне бойкие манеры питерской вдовы, которой так внезапно пришлось сменить место жительства, никому не внушали доверия. Зинаида старалась держаться как можно скромнее. В Москве она решила продать несколько самых неприметных безделушек из княгининой шкатулки, деньги у нее теперь водились, но тем не менее платье она покупала на толкучке, всячески подчеркивая свою бедность. За квартиру пришлось платить всего ничего: община устроила ее на жительство к вдове, купчихе-староверке, женщине богатой, но, вместе с тем, на удивление не корыстной. У купчихи был один страшный недостаток: она могла говорить только на одну тему – о муже-покойнике. Зинаида, привыкшая в своем притоне к самому разнообразному и, без преувеличения, взыскательному обществу, умевшая поддержать беседу, вернуть острое словцо, теперь отчаянно скучала. Она пыталась рассказывать купчихе какие-то анекдотические случаи, разумеется, на приличную тему, чтобы как-то скрасить пустые вечера за самоваром. Та слушала, бессмысленно глядя на жиличку оловянными глазами, потом зевала, троекратно крестила рот и с подвыванием произносила: «Ба-а-тюшки... Чего на свете не бывает... Это за границей, что ли, было или где?» – «В Питере! – злась, резко отвечала Зинаида. – Я же сказала – в Питере!» – «Ишь, вот как... – тарасилась на нее купчиха. – А вот тоже был случай и у нас: муж мой, покойник, задумал Великим постом грибков поест. А любил он только рыжики... Груздь ему хоть не показывай – не станет кушать. Опенки тоже не любил...»

Надо было срочно вырваться из этого скучного душного дома, заставленного угрюмыми чудовищными сундуками, завешанного киотами со старыми, темными иконами. Это был безопасный приют, Зинаида была здесь никому не заметна... Но эта жизнь ее мучила. Она меч-

тала о замужестве – ей определенно обещали подыскать мужа в общине, как и просил в письме отец Иоил. Бывшая сводня планировала в самом скором времени взять муженька под каблук. Ей ли не знать, как это делается?! А там уж она будет делать в своем чистеньком, элегантном магазинчике что хочет... У нее непременно будет магазин в одной из лучших торговых улиц! Новый магазин, новые модные платья, новое имя... Новая жизнь. И вот в Москву по пятам за ней является ненавистная графинюшка, одним ударом разбившая ее питерское безоблачное существование!

С тех пор как Зинаида прочитала о приезде виконтессы де Гранси в Москву, она окончательно лишилась сна. «Не меня ли она преследует?!» – явилась ей дикая, но вполне обоснованная мысль. Зинаида стала следить за особняком, который сняла виконтесса, пытаясь понять, куда та выезжает и выходит. Так она вчера вечером случайно встретила брата, которого считала давно умершим. Эта встреча взволновала ее сильнее, чем ожидала сводня. Никаких родственных чувств к Афанасию она не питала, как не питала никаких чувств ни к кому, кроме себя самой, и ни к чему, кроме денег. Ее мучило и жгло какое-то тяжелое чувство, в котором было много злобы и обиды.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.